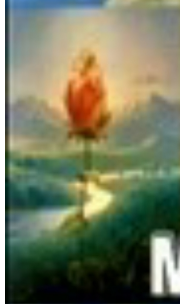




БИТВА РОЗЫ



М. СОСНИЦКАЯ



16+

Маргарита Станиславовна Сосницкая

Битва розы

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=51706026

SelfPub; 2020

Аннотация

Роман-travelог о путешествии по местам древних империй. Начинается он на круизном лайнере, где веселые праздники варьете сочетаются с философскими чаепитиями. Герои учатся читать текст территорий, захватывающих дух пейзажей, между попутчиками завязывается дружба, но шерше ля фам. Тем более, один из героев – батюшка, а другой известный биогенетик и представляет интерес для иностранных спецслужб. События разворачиваются и на Афоне.

Содержание

| | |
|--------------|----|
| Часть первая | 6 |
| 1 | 7 |
| 2 | 10 |
| 3 | 14 |
| 4 | 17 |
| 5 | 19 |
| 6 | 24 |
| 7 | 28 |
| 8 | 33 |
| 9 | 35 |
| 10 | 38 |
| 11 | 41 |
| 12 | 44 |
| 13 | 49 |
| 14 | 54 |
| 15 | 58 |
| 16 | 63 |
| 17 | 67 |
| 18 | 73 |
| 19 | 78 |
| 20 | 82 |
| 21 | 85 |
| 22 | 88 |

Часть вторая

91

Конец ознакомительного фрагмента.

92

«...призваны в мир мы вовсе не для праздников и пирований – на битву мы сюда призваны...»

(Н. В. Гоголь)

Часть первая

Плывущий мир

Чтобы найти места, где скитался Улисс, надо сначала разыскать скорняка, скроившего мешок, в который Эол из любезности к Улиссу зашил ветры, надувавшие его паруса.

Эратосфен, III век до н.э.

1

Когда-то же надо в жизни сесть на манящий корабль и отплыть в далекие страны – не в Константинополь, как из Крыма поручики и корнеты, которым на пятки наступала Красная армия, а просто отплыть, чтобы своими глазами увидеть места, где не однажды побывала душа на легких парусах фантазии и знаний.

Так думал Георгий Дмитриевич Палёв, когда отказывался от денег за участие в предстоящей конференции, а в качестве компенсации за труды выбирал проезд к ее месту на теплоходе, совершающем круизы по Адриатике и Средиземноморью. К месту, фатально лежавшему в сфере влияния Константинополя.

Отец Александр Езерский, делая тот же выбор, рассуждал несколько иначе. Он вполне обоснованно думал, что ни к чему человеку блага земные, портящиеся, бьющиеся, – время стяжать блага духовные, вечные, что в огне не горят и в сбербанках не обесцениваются.

Там, где Венеция, опоясанная кружевными дворцами и легко взлетающими над каналами мостиками, обрывается в море, за мостом Свободы, замер на водах бело-синий теплоход «Эль Сол», ступенчатой пирамидой своих палуб поднимающийся на тридцать метров в небо цвета морской волны. Время от времени теплоход истошно трубил, призывая

свое стадо – пассажиров поскорее совершать посадку, ибо ему уже было невтерпёж сняться с якоря и ринуться в открытое море.

Пассажиров по большому счету можно было поделить на две категории: на пенсионеров и семейные пары с детьми от нуля до шестнадцати. Отец Александр, не спешивший подняться на борт, а наблюдающий за посадкой с причала, пожалуй, мог бы сойти за начинающего пенсионера, если бы ни размашистая проседь в чёрной бороде, придающая ему бунтовства и неуспокоенности. В глаза ему бросился высокий русобородый человек в длинном пальто с улыбкой в синих глазах; то, что они синие, очень было заметно из-за теплохода, бело-синего, воды вокруг, тоже густо-синей; «Ух-ты! – поразился отец Александр. – Прямо Андрей Первозванный. И сразу сделалось явным, что вся толпа вокруг – тусклая вещественная масса, ... а от него свет».

И вот лайнер на крыльях кипящей по флангам пены вышел в открытое море.

Редко где еще можно до такой степени оказаться рядом со стихией, как здесь, на палубе, у ее белых бортовых перил! Водная пустыня простирается до горизонта на все стороны розы ветров. Она светится то зеленою, то лазурью, то бирюзой; по всему горизонту ее венчает небо, обменивается с ней оттенками и всполохами, превращается в единое пространство, в эфирно-водяной космос.

Волны, наталкиваясь на борт, шарахаются обратно, закру-

чивая на поверхности воды белые разводы и прожилки, какие обычно можно видеть на серо-зелёном мраморе, иногда со вставками прозрачно-голубого минерала, тоже с прожилками и туманностями в своих недрах. И вся эта огромная коническая плита пенистого мрамора, в кильватере сопровождающая судно широкой полосой, расходится за кормой, а затем разглаживается далеко в море.

2

Георгий Дмитриевич устраивался в каюте, эдаком большом чемодане, выстеганном светлым дермантином, переправляя вещи из сумки в шкаф-рундук, бритву, зубную щетку на зеркало в туалете; на столе под иллюминатором, делавшим его соседом рыб и русалок, он устроил алтарь, во край угла которого поставил открытку Рублёвской Троицы, конвоируемую крестом и свечой в подсвечнике, мимоходом перекрестился: «путешествующим спутешествуй!» и бережно положил перед алтарем увесистую кожаную папку и письменные принадлежности. Взгляд его упал на картину на стене, плакатную репродукцию красного квадрата, перечеркнутого синими и серыми полосами, он поморщился, как от царапанья по стеклу, снял его и засунул в шкаф.

Пусть чемоданом каюта была вместительным, но все-таки это был чемодан, а человек – не сменное белье: ему в чемодане тесно. Палёва стали давить потолок, и он вышел пройтись по палубам, не запирая за собой дверь. А зачем запирать? Неужели в этой сытой толпе кто-то польститься на его скромный скарб? В коридоре навстречу попался темнокожий человек в мундире каютного персонала с бабочкой, улыбнулся улыбкой счастья, будто он ждал всю жизнь этого часа: увидеть здесь Георгия Дмитриевича и с умилением проворковал: «Гуд ивнинг». Георгий Дмитриевич смутил-

ся до крайности от такого внимания к своей персоне, улыбнулся такой же улыбкой и ответил тем же блаженным «гудивнингом».

По всем четырем палубам, а также по носу и на корме, было разбросано бесформенное, подержанное мясо туриста, не знающего, как скоротать оставшиеся дни. Самыми острыми ощущениями его оставались гастрономические, и в ожидании ужина он массово потягивал пиво, соки, еще какие-то неведомые напитки цвета кровоподтека с апельсиновой долькой, эквilibрирующей на венчике бокала. Бескостные, каучуковые официанты экзотических национальностей в желтых форменных пиджаках и неизменной бабочкой на шее скользили между столиков с подносами, подавая эти напитки. У каждого с лица не сходила улыбка, которую поразила Георгия Дмитриевича человек в коридоре.

Отец Александр открыл свой чемодан, где поверх всякой одежды лежали образки Троицы, Богоматери Тихвинской и Николы Угодника. Он бережно расставил их в правом углу стола под иллюминатором, возжег ладану, обкурил всю каютку, шкаф, ящики стола, туалет, быстро проговорил молитву на вхождение в новый дом, и только тогда разобрал чемодан. Картину, эпизод «Герники», снял со стены, вспомнив, что как раз испанские фашисты пытали людей, запирая их в «шкатулки», расписанные изнутри шедеврами абстракционизма, и затолкал ее ниц под кровать.

На ужин в ресторане «Коралловое кружево», а все палубы

и салоны имели причудливые названия – «Кюрасао», «Тихоокеанский», «Азур», – подавали столько всякой невиданной всячины: медальоны, застеклившие в желатине креветку, гавайский салат из латука и ананасов, утятину в апельсиновом соусе, рыбу «на карете» из авокадо, суп из морских насекомых, а потом еще сладкое в виде всевозможных пирожных, мороженое в шоколадном соусе и кофе, что отец Александр, одиноко сидевший за столом, хотя стол был сервирован на двоих, не устоял и не столько съел, сколько всего попробовал – да не от голода, а из любопытства. Правда, пирожные, в некотором смысле никакие не пирожные, а лишь четверть пирожного в нашем смысле, благословясь, он съел все, тайный сластена отец Александр, вазочку мороженого тоже тщательно выгреб ложечкой и от кофе не отказался. Как отказываться, если его преподносят в нарядной чашке, да еще и кланяются: выпей, дружок. Отказываться –... гордыня. Да вот странно, его безвестный сосед вовсе неучтиво уклонился от всей этой манны небесной – не изволил засвидетельствовать почтения. Ну, да ничего, голод не тетка – изволит.

Отец Александр встал из-за стола, и тут его шатнуло так, что не будь рядом какого-то малайца, ловко поймавшего его за локоть, он точно упал бы на пол. Море занервничало. Волна ударяла белой дикой лапой в окна третьей палубы, а именно здесь располагалось «Коралловое кружево», и проходящих по коридору швыряло от стенки к стенке. На-

встречу отцу Александру попались подростки с розовыми волосами, «Не галлюцинации ли начались после гавайского-то салата с кофеем?» – испугался он, но розовогривых тоже кидало нещадно, и он успокоился: не галлюцинации. Болтанка, кажется, забралась вовнутрь, стала толкать что-то от стенки к стенке желудка, и он поспешил в свою каюту.

3

В салоне «Азур» на второй палубе начинался вечерний сеанс варьете. Публика уже сидела в креслах и вышколенные перуанцы, впрочем, не исключено, что филиппинцы подносили напитки на заказ.

Георгий Дмитриевич вошел в салон, придерживаясь за стенку, но этой предосторожности не хватило, следующий удар волны о борт усадил его в кресло, полумрак в салоне померк, вспыхнула сцена и распахнулись синие, в золотых созвездиях кулисы.

После оглушительного рокота оркестра и приветственно-го предисловия ведущего, прозвучавшего на пяти языках без точек и запятых, на сцену выпорхнули кордебалетные девочки. Их пестрота ошеломила, у самых глаз замелькали яркие юбки, оборки, перья, голые ноги. «Как же их не заносит при такой качке?!» – дивился Георгий Дмитриевич, а с ним и половина зала. В этом аврале кордебалетные бабочки все были на одно лицо. Они упорхнули, свет умерился, и на сцене появилась певица. Довольно сильным, выразительным голосом она запела по-английски. Ничего, что английская музыка в наши дни не знает мелодии, как не знает рифмы итальянская поэзия. Певице не больше двадцати пяти, ее почти стройная, если бы ни лёгкая сутулость, фигура была задрапирована в кусок черной блестящей ткани, волосы неподвижно лежали

на плечах, а глаза, либо смотрели в пол, либо закатывались к небу. На публике не задерживались. Это поразило Георгия Дмитриевича.

Певица под аплодисменты бежала за кулисы, а оттуда снова высыпал кордебалет, уже в коротких фраках, цилиндрах, чулках сеточкой и полусапожках; глаза привыкли к мельканию, и танцующих можно было разглядеть лучше. Из всех четверых Георгий Дмитриевич оставил бы одну. Она двигалась легко, со вкусом и чувством. Остальные делали физзарядку в ритме оглушительной музыки. У одной к лицу прилипла улыбка неестественного счастья, будто над ним поработал скальпель компрачкосов (смотрите Виктора Гюго), другая не запоминалась ровно ничем, а третья была так побита жизнью, что не составляло труда представить, чего ей стоил этот ангажемент, наверняка последний.

Потом играл оркестр, выходил иллюзионист, взявший себе ассистента из зрителей, опять мелькал кордебалет, и пела певица. Об окончании этой клубно-ресторанной самодеятельности не хуже, чем в каком Крыжополе, снова на пяти языках объявил с невероятным апломбом ведущий и представил публике оркестр:

– Мища! Игор! Наташа!

Танцовщиц:

– Катя! (ту, что Георгий Дмитриевич оставил бы), Звэта! (компрачкосная), Татяна, Звэтлана! (ветеранка).

Каждая из них покружилась и сделала поклон. И послед-

нею вызвали певицу:

– Елена!

Она под барабанную дробь поспешила на край сцены и присела на одно колено.

Георгий Дмитриевич чуть не упал со стула, и не только потому, что шалила волна: «Ба! Да они русские! Как же я сразу не сообразил... Значит, я на этой скорлупе не один...» И он не медля отправился бы к музыкантам знакомиться, да ведущий объявил, что ночной сеанс шоу повторится через час. «Куда ж соваться... Людям работать надо».

Во время ночного сеанса Георгий Дмитриевич уже спал, укачанный пятибальной колыбельной Нептуна.

Завтрак и обед подавали шведским столом в носовом отсеке салона «Азур» под названием «буфет» с выходами как на открытую палубу, так и в сам салон. Набрав на поднос булок и кофе, Георгий Дмитриевич вышел на палубу. Море светилось нежно-невинной синевой, будто не имело ничего общего с тем ночным буяном, швырявшим корабль, как щепку; Георгий Дмитриевич улыбнулся морю и узнал за столиком девушку из кордебалета в простом спортивном костюме, – как раз ту, которую он оставил бы, – кажется, Катерину, и подошел к ней:

– Разрешите... рядом с вами?

Катя подняла лицо, совсем не такое бесшабашное, каким оно смотрелось со сцены, с легкой сыпью на щеке:

– Русский турист? На борту?

– А что – редкая птица? – Георгий Дмитриевич поставил поднос на стол и придвинул стул.

– Турист – да. За все время была одна пара.

– А так, не туристов, русских много? – он сел.

– Нет, руководитель оркестра из Москвы, еще скрипач и пианистка русские, но они из Эстонии.

– А вы? – но тут Георгий Дмитриевич догнал, что Катя говорит распевно, мягко, и опередил ответ. – Вы с Украины.

Катя засмеялась:

– Это понимаете вы. Для здешней публики, – она кивнула на азиатского мальчика, забравшего пустые тарелки, – мы все – русские. – А разве не так?

– По этой части вам лучше с нашей певицей пообщаться. У нее на этот счёт целая система... Я у нее – польская украинка: я ж из-под Львова. Две наши Светы – это молдавские украинки, они из Новосильцева, это другой рубеж, с Молдавией, а сама она – русская украинка... она ж то ли из Донецка, то ли из Луганска, – Катя встала. – Еще есть русские в *дуги шопе*, но они латышки. Ну, мне пора. Увидимся еще, – и торопливо ушла.

Георгий Дмитриевич привстал, раскланялся и сел на место совсем озадаченный: вот тебе и на... пост-имперские разборки... А если подумать, оно так и есть... Украина – это сумма окраин всех граничащих с ней государств. Плюс русины. Оттого там и разброд такой, и никакой самостоятельности... Все они там – порубежники, только и глядят, с какого боку лучше. Лебедь, рак и щука,... каждый тянет территорию в свою сторону. Интересно, а украинские украинцы – это ж кто?

В тот вечер отца Александра не выманили бы на ужин никакими калачами. Георгий Дмитриевич трапезничал в одиночестве, задаваясь вопросом, кто же тот таинственный незнакомец, кого безнадежно поджидают пустые тарелки, прибор, салфетка?

На следующее утро его разбудила радиорубка:

– Проплываем Итаку. Слева по курсу Итака, остров легендарного Одиссея...

Георгий Дмитриевич, поспешно облачась в пальто поверх пижамы, в тапочках на босу ногу выбежал из каюты и – пулей по лестнице, через две ступеньки, устремился на открытую палубу. Не дай Бог, опоздает, пропустит этот всепетый клочок земли, обетованной, потому как родной, куда Одиссей, сверхчеловек античности, плыл через сто морей, сто преград.

– Этот самый крохотный из Ионических островов, – вещала металлическая радиорубка, – площадью сто три квадратных километра, является и самым знаменитым благодаря бессмертной поэме Гомера. Последние археологические раскопки подтвердили достоверность его описаний.

Выходя на палубу, Георгий Дмитриевич чуть не столкнулся с отцом Александром, спешившим не меньше него. Они обменялись вежливо-извинительными улыбками и кинулись к перилам. Опасения опоздать были напрасны: остров оказался не таким уж маленьким. Это был изрядный холмогорб, напоминающий Аюдаг, за которым тянулся другой такой же Аюдаг, третий, четвертый. Минут сорок судно плыло вдоль его берегов. У морских народов есть специальное слово для

такой навигации – costeggiare, coast.

Нельзя сказать, что со времен Одиссея остров сильно перенаселили: на одном склоне гнездилась пара дюжин домов, белой полосой холмогорб очерчивала дорога, и у где-то самого подножия, у воды, белела не то вилла, не то церковь – не разглядеть. Вот и все признаки жизни в довольно обширных владениях царя Итаки. Не всякий онассис позволит себе такие.

«Что же, вполне реальные возвышенности... среди морской равнины, – немного разочаровался Георгий Дмитриевич. – В глазах фантазии они представлялись иными... А вот увидел и-и-и... приземлил миф, лишил его ореола. Зачем? Ни мифу, ни мне это не нужно...»

Георгий Дмитриевич и отец Александр тайком друг от друга обменялись взглядами: «Тоже... как я... романтик». «Небось, грек». «Точно, испанец».

Вопрос: «А кто же он по национальности?» – для новичков на борту становился ключевым. Но к этой загадке легко подбирался ключ. Толпу туристов в полторы тысячи в основном составляло население Европейского Союза, изредка кто-то прилетал из Американских Штатов. Занятнее была пирамида экипажа и обслуживающего персонала. Она порождала вопрос: почему один народ угнетает другой? Ни один другого, а именно один народ другой? Ведь не может быть целый народ официантов, а другой состоять из одних инженеров-директоров. Такого никогда не было... разве что в ди-

кие древние времена, когда победители обращали в рабство народ побежденных, господ и слуг без различия.

Внизу пирамида расслаивалась на касты, но не по социальному, а по национальному происхождению. Малайцы, филиппинцы, тайванцы, тайландцы, бангкокцы и прочие непостижимые желтые люди с их гуттаперчевыми улыбками служивали в ресторане помощниками официантов (*гарсонов*) – *петит гарсонами*, т.е. убрали со столов грязную посуду, они же обслуживали в буфете. Гарсонами работали темнокожие люди из Гондураса, Перу и прочих прародин ацтеков и золота конкистадоров.

Помощниками в машинном отделении доверено было трудиться молдаванам – поразительно, как народ столь маленькой советской республики расползся по щелям и закоулкам всего мира.

Стюардами, а попросту уборщиками кают, работали индусы из шудр, но и у них была своя субординация: низшему отводилась уборка и ремонт сантехники.

Далее кастовость переходила в иерархию в «цивилизованном» смысле. Метрдотелем могли служить поляк, хорват или турок. Можно было встретить парикмахершу болгарку, а приемщицу в фотосалоне из другой части бывшего соцлагеря.

На этой маленькой плавучей модели мира, четко просматривалась иерархия народов нового порядка. Капитализм снял маску. Он не рядился здесь в фальшивые тряп-

ки прав человека, он алчно, с пеной у рта, заплывшего жиром, наживался. Открыто, изощренно, ненасытно выжимал соки из народов, не сумевших приспособиться на теплом месте в единой мировой монополии на благополучие, народов, впавших в нужду, в задолженность, а, следовательно, в зависимость. И никакой даже самой блистательной, в духе набокковской, гениальности не хватало, чтобы вырваться за жесткие рамки, в которые впаян человек положением, отведенным его стране на мировом рынке человеческих душ.

С неграми кокетничали в контексте борьбы с расизмом: им дали статус белых. Всего двое или трое на борту, они выполняли «интеллектуальные» обязанности белоручек: устраивали викторины или приглашали потанцевать какую-нибудь даму, одиноко стареющую за изжоготворным коктейлем в углу дальнего дивана. Не дай Бог, дать негру понять, что он черный. Нет, негр – белый человек. А уж белые пусть сами разбираются, если они на положении негров.

Роль затейников и администраторов плавучей гостиницы отводилась итальянцам. Они же заведовали бюро экскурсий.

Греки – мореходы по географическому определению. Их место в этой пирамиде предопределили еще аргонавты, посему ничем и никак оно не было омрачено. Капитан «Эль Сола» закончил Морскую Академию в Афинах, там же формировался старший состав экипажа.

Нет убийства без убийцы – нет рабов без хозяев. На вершине пирамиды, на остром ее кончике, восседал англичанин в

кресле директора гостиницы. О, море – это его вотчина. Он сумел поставить его себе на службу. А местечко на золотой верхушке тысячелетиями ему готовили, сами того не ведая, фараоны и раджи, когда в силу своих верований и венца, собирая подати, накапливали золото в гробницах и храмах, а он пришел морем, эдакий великобританский англичанин, взял это золото и построил себе золотые палаты и синекуры.

«Эль Сол» пришвартовался в Катаколоне на западном побережье Пелопонесса. Солнце здесь грело совсем по-весеннему; в его объятья сошли толпы туристов и заполнили автобусы, которые повезли их не в сторону шумного, оживленного Патраса, а к тихой, отстраненной от больших дорог древней Олимпии, утопающей среди оливковых рощ, зеленых даже под солнцем января.

Рассказ греческого экскурсовода, видного мужчины со служебной карточкой на груди «Гид Янис Христос», был лаконичным образцом динамики и диалектики:

– Олимпия, не путайте с Олимпом, вошла в историю своими спортивными играми около 2700 лет назад. Смысл этих игр – в заключении перемирия. Древнюю Грецию раздирали нескончаемые междуусобные войны, но каждое лето, перед урожаем, все военные действия прекращались и противники мерялись силами вот на этом стадионе. Здесь нет ступеней, аристократы и плебеи сидели прямо на траве. Зрителями могли быть исключительно лица мужского пола, потому что атлеты были полностью обнажены. Вероятно, женщин попросту щадили: в число состязаний входила борьба *панкратио*, имевшая одно правило – никаких правил. Победенный, однако, имел право просить пощады. А лавровый венок победителя в кулачном бою тяжеловесов на 48-х

Олимпийских играх увенчал юного самосца Пифагора. При жизни его считали светоносным Аполлоном, а после смерти, в IV веке до христианства, объявили полубогом. Век, в котором он родился, был веком богов: тогда пришли на землю Будда, Махавира, Заратустра и Лао-Цзы. Единственная женщина, которая допускалась на стадион, была жрица Деметры. Каждый атлет произносил присягу: « Я, человек, свободный, эллин... » – только эллины имели право участвовать в олимпиаде. С тех пор не один десяток столетий на этом месте совершается мистерия возжигания олимпийского огня. Роль жриц выполняют актрисы Афинского Национального театра, одетые в туники и хитоны древних эллинок. На территории этого спортивно-храмового комплекса находились сокровищницы с дарами, оберегаемыми священным запретом от воров и грабителей надежнее банковских сейфов, здесь же возвышался храм Зевса на своих еще примитивных, не дошедших до более позднего совершенства колоннах. В его стенах находилось главное сокровище – одно из семи чудес света, гигантская статуя Зевса из золота и слоновой кости работы Фидия. Храм отчасти разрушило землетрясение, но землетрясение – ничто по сравнению с рвением византийского императора Феодосия, приказавшего в пятом веке уничтожить святыни античности – храмы языческих богов. Православные христиане не оставили камня на камне, разобрали даже дорические колонны.

Гид указал на лежащие на траве шеренги огромных ка-

менных дисков с вогнутыми гранями, напоминающие аккурратно нарезанные дольки ананаса. С конца четвертого века их жарило солнце и мыл дождь.

– Но император Феодосий был не дурак. Статую, а это двенадцать метров золота и драгоценной кости, велел доставить к себе во дворец в Константинополь. Там ее следы теряются; надо понимать, ее пустили на цветной металлолом, не сохранив для истории даже ее изображения.

Георгий Дмитриевич отбился от группы и растянулся на травянистых склонах, обрамляющих овал стадиона. Эти склоны видели Пифагора; и ведь на все его сверхчеловеческие испытания Господь и силы, и здоровья отпустил. Палёв перевернулся лицом вниз и поцеловал эту землю: а вдруг здесь ступала пятка Пифагора? Земля пахла весной и свежестью, и этот запах напомнил ему о детстве, когда летом он ездил в деревню к родственникам на Украину. Так же пахло свежестью по вечерам. И сразу наплыли видения посиделок за вечерей под вишней, песнями, катанием на Полкане – какие там древние греки! Память все помнит. Надо было заехать на край света и край времен, чтобы узнать об этом.

* * *

У «Эль Сола» экскурсантов встречала увеселительная труппа: кто-то ряжен мышкой Минни, кто царем зверей, кто в греческий костюм. Георгий Дмитриевич узнал певицу, да

собственно, у нее на расшитой жилетке была приколата табличка “Elena. Singer”; и он обрадовался ей, как старой знакомой:

– Здравствуйте!

Елена удивленно взглянула на него. Теперь она глаз не опускала, как на сцене, не прятала, они были матово-зелеными. Она махнула рукой:

– Ах, да... Катя говорила... Здравствуйте. Понравилось?

– Масса впечатлений. А что вы пренебрегли? Или вам не полагается?

– Что вы. Я все это уже видела-перевидела. Мне эти древности давно кучей дряхлости кажутся. Как в антикварной лавке.

– Однако... – озадачился Георгий Дмитриевич, – тогда вся планета – антикварная лавка, туризм в ней – торговец-антиквар, – а про себя подумал: «Диалектическая барышня. Небось, с пятого, а то и с третьего раза мне тоже так показалось бы».

Наконец, Георгий Дмитриевич и отец Александр встретились за столом в «Коралловом кружеве». Обменялись вежливыми улыбками, чуть ли не потирая руки в предвкушении интересной компании. Подумали: «Грек». «Испанец». «А может, англосакс?»

– Хау а ю? – спросил Георгий Дмитриевич.

Отец Александр благодушно кивнул.

– Фром вэа ю а? – тоже кивнул Георгий Дмитриевич, но усомнился «ю а» или «а ю» и уточнил, – Дойчланд, Франс, Ингланд?

Отец Александр отрицательно качал головой, мол, простите, никак нет.

– Россия, – в завершение перечня кивнул он с опаской.

– Ба-атюшки! – развел руками Георгий Дмитриевич. – Какой шел, такой и встретился!

– Русский, русский, – с облегчением перекрестился священнослужитель.

– Русский русский? Не русский молдаванин, армянин или кто еще?

– Нет, нет, как есть русский, чистый лапотник, из Подмосковья, хоть и поповского сословия. С вашего позволения, отец Александр, в миру Езерский.

– Батюшка! – совсем восхитился Георгий Дмитриевич.

В избытке эмоций новые знакомцы погрузились во вкушение поданных блюд: ягнятины на ребрышках и розового пюре.

– А вы по какому направлению в Подмоскowie обитать изволите? – после некоторого удовлетворения голода и эмоций промокнул губы салфеткой Георгий Дмитриевич.

– По Можайскому, – с готовностью отвечал отец Александр, радуясь завязке разговора. – Под Рузой, деревня Ошмётово, может слышали?

– Как же, как же... У вас там где-то генерал Доватор погиб.

– Погиб, погиб за други своя. И мой-то храм немцы разорjali. Что они не одолели, Никита Сергеевич превозмог. Стены на кирпич для коровника пустил... Берёзы в иконостасе росли... Красиво так, надо признаться. Я как приехал, обомлел: на иконе шагает Дева Мария, алое платье выцвело, местами облупилось, а рядом ветер живую березку трепещет... Я слезами залился и взялся поднимать приход.

– Эх, вечные мы первопроходцы. А Хрущев наш, злодей какой, – сокрушался Георгий Дмитриевич, – супостат, почище Феодосия...

– Я-то сам ГИТИС заканчивал, на режиссера, – продолжал свою повесть отец Александр.

– Как же вас так угораздило? – удивился Георгий Дмитриевич. – Скомороха-то создал бес, а попа, говорят, Бог.

– Матушка у меня из набожных. Дневала и ночевала в

церкви на подхвате. И слух до нее дошел, что в Ошмётово батюшка нужен, а никто не рвётся. Вот она меня и призвала. Это на заре перестройки, магма в обществе кипела, в формы еще не застыла – вот меня и угодило. Браком сочетался, с поэтессой... она духовные вирши попервости было писать стала, – он как-то тяжело вздохнул. – Детишек нам Господь троих послал, храм отстроили. Жалко мне было берёзку алтарную рубить. Выкопал собственноручно и у входа в храм посадил... Потом мысли излагать в статьях сподобился о богостроительстве, в журнале «Светь невечерній» стали помещать, и вот послали меня, раба Божьего на конференцию «Будущее христианства», что на горе Афон и состоится...

По мере того, как отец Александр рассказывал, Георгий Дмитриевич все больше обескураживался:

– Уж не знаю, что и сказать! Два сапога – пара, два дня в одной лодке плывем, а друг друга не признали!

– Не скажите, – покачал головой отец Александр, – я вас еще при посадке заметил. Да как-то не распознал.

– Я ведь тоже на Афон, на вашу конференцию, по стопам, можно сказать, Константина Леонтьева, только не от «Света невечерняго», а от «Науки и знания». Я – микробиолог по профессии, из Петербурга. Пришел к религии, как часто это случается с моим поколением, самостоятельно. Религия совершает посев всего происходящего.

– Совершает посев или пожинает плоды?

– Это с какого боку посмотреть. Хрущев разрушил ваш

храм в Ошмётово, а Феодосий храм Зевса в Олимпии. Какой ущерб культурному наследию, а оно сосредотачивалось в основном в храмах, нанесли первые христиане. Правда, в Египте храмы они не сносили, но соскабливали со стен изображения богов, жили там со скотом, жгли костры, коптили своды, уникальные своей росписью под небеса, которую невозможно восстановить.

– Со скотом жили в храме? Да это же... – осквернение! Где же такое творилось?

– Дай Бог памяти... по Нилу. Там Феодосий преуспел не так, как в Олимпии, но всё-таки. Религия всегда преумножала культуру... собственную. Чужую вычеркивала. В Андах христианские миссионеры бросали в костёр рукописи майя.

– Конечно, – отец Александр озадаченно погладил бороду, – и наш Святейший Патриарх говорит, что каждому, *каковы бы ни были его убеждения, подобает с благоговением относиться к святыням своих предков.* Но Феодосий укрепил христианскую империю. В вере не бывает преизбытка. А храму Зевса, как идолу Перуна, видно, полагалось быть сокрушенну.

– А что ж вы тогда на Никиту Сергеевича серчаете? Он отличается от Феодосия только тем, что рушил свои храмы, а Феодосий чужие. Чужие, да религии старшей по возрасту, годящейся ему в праотцы. А разве не призвано почитать старцев?

– Да не атеист ли вы часом, уважаемый Георгий Дмитри-

евич? – насупил брови отец Александр.

– Обижаете, батюшка, – укорил его Георгий Дмитриевич. – Вера дана человеку от рождения. Ее нельзя ни выкорчевать, ни выжечь – душа не лесная посадка. Да и как ученый, я не могу сомневаться в существовании Бога.

– Молиться больше надобно. Даже ученому. А не умствовать, – отец Александр приготовился к решительной проповеди, да *petit garson* усиленно стал убирать со стола тарелки, отчего собеседники поняли, что им делают прозрачный намек удалиться.

Два раза в одном и том же платье в шоу-концерте не появляются. Сегодня Елена пела в широких атласных брюках и чрезмерно открытой блузе: руки, плечи ее, живот были оголены, волосы подобраны, шея вследствие тоже оголена, на голом животе сверкал пояс-змейка и так же сверкали ему в ответ кокетливые гаремные туфли. Елена вперилась глазами в пол и ни разу от него не оторвалась. Она пела что-то из Мирей Матье. Голос ее был более низким и тусклым, чем у француженки, но это замечалось лишь на первых нотах, далее француженка исчезала и оставалась только эта певица, подтанцовывавшая себе в такт и сутулившаяся больше вчерашнего. А может, так казалось оттого, что вчера плечи ее были скрыты, а теперь обнажены; хотелось накинуть на них пиджак, защитить, согреть. Георгий Дмитриевич огляделся вокруг: неужели никто этого не понимает? Упитанная, принаряженная публика, а если кто и не упитан, то совсем не от недоедания, располагалась на диванах и креслах за столиками. «Китайчата Ли», хотя среди сорока национальностей на борту не встречалось ни одного китайца, которых на суше – каждый четвертый, подносили напитки электрического цвета, публика переговаривалась, между делом снисходя до певицы взглядом. И что роптать? Разве не таким было изначальное назначение искусства? Богатые и сильные мира сего

пировали, а певцы, музыканты, трубадуры их забавляли. Это улучшало настроение, а следовательно, пищеварение.

Георгий Дмитриевич вышел из зала и спустился к себе в каюту. Педантичный стюард, наводя порядок, повесил обратно на стену перл абстракционизма, изгнанный было в шкаф. «Фу-ты, – поморщился Георгий Дмитриевич и вернул его туда опять, – вирус... в теле искусства». Теперь каюта не казалась ему чемоданом, наоборот, это было единственное место, где можно было укрыться от пестрой, многоликой толчеи на борту; он вывесил табличку «Не беспокоить» и открыл толстую кожаную папку на столе. В эту минуту уже не имело значения, где он, на борту ли этого летучего голландца, курсирующего в сторону Средиземноморья, в калужской деревне, в Англии, Африке или Америке, во дворце или в камере, в палатке или хижине; стены и прочие перегородки пространства, законы материальной физики с ее гравитацией и сопротивлением исчезли, в силу вступили законы метафизики – он увлеченно писал, летел на парусах порыва и мысли, вне ограничений, в которые заключен дух на срок своего пребывания в теле.

Ночной концерт закончился; Елена должна была дожидаться конца финального выхода. Часы давно показали полночь. Только потом она была свободна и могла удалиться к себе. Она ушла в каюту в золотом концертном платье, чтобы там сразу без промежуточных переодеваний нырнуть в ночную сорочку. Елена – единственная из труппы занимала отдельную каюту, потому что оказалась нечётной, остальные жили по двое. Она сбросила золотое платье, изогнувшееся, повисшее между столом и стулом, как блестящая лягушечья шкура, и стала под душ. По телу прокатилась судорога – день сошел. Наскоро промокнувшись большим полотенцем, Елена легла под одеяло и погасила резкий круглосуточный свет – в служебном отсеке не было иллюминаторов. Но сон не спешил обезболить душу. А мысли осаждали, как саранча.

«Как мне все надоело... Сытые рожи, а я мечу перед ними бисер... торгую собой. Гадкий, мерзкий рынок... Почтище невольничьего в Каффе... Там хоть единожды на тебя поглазели, продали, а дальше ты все-таки при одном хозяине, может, и мерзком... фу. А тут, что ни вечер – смотрины. И что делать, что делать? Каких усилий стоило попасть на эту плавучую зону! Альтернатива – с толпой наших безработных искать любую работу. Песни петь – все-таки не судки чистить. К маме бы... Единственный человек, кто всю жизнь

меня любит. А каково Светкам: у них дома дети – малые на попечении старых. У меня хоть одна мать, и лечение ей впрок пошло. А без него, может, уже и не было бы мамы. Сейчас без денег в больнице стакана воды не подадут. Бедная мама! О внуках мечтает. Понять не хочет, хорошо, что их нет! Чтоб не убиваться, не страдать, как Светки по своим. Да и что ждет наших детей?! Продаваться за бесценок, как мы? Лучше не рождаться. Нам-то уже некуда деваться – родились. И нас без боя сдали. Заработаю денег, устройюсь, заберу маму из нашей дыры – а там и женихи слетятся. Они все ищут хлебных невест. Совсем измельчали. До чего довели нас, женщин, эти воины, защитники. Совсем в грязь втоптали. Женятся только если при жене выгоднее, чем одному. Но за иностранца – ни за какие миллионы не хочу. Тошнит, насмотрелась. Да и выходят за них ради денег... ради этих бумажек, ничего не стоящих... У каждой где-нибудь в прошлом или в отпусках заветный Иванушка... тихо спивается от безысходности... Тюрьма, а выходить некуда. Воля – значит голод. Трагедия нашего времени – это тебе не «Ромео с Джульеттой». «Ромео...» – детский лепет по сравнению с драмой, как прокормиться, и хуже того, докормиться. Нажитки враз кончатся, чтоб их... – она переметнулась на другой бок. – А завтра по маршруту остров Роз. Обязательно пойду пройдусь. С кошками на пристани поиграю. Вот кто счастливые создания – кошки...»

Обняв подушку, будто это была большая пушистая кошка,

Елена согрелась и заснула.

10

Расстояние между Родосом, которому досталось тепленькое место под эгейским солнцем в цепи Додеканесса, и бродягой «Эль Солем» резко сокращалось.

На борту «Эль Сола» выходил ежедневный англо-немецко-франко-итало-испанский листок со сводкой погоды, описанием и распорядком прибытий-отбытий, мероприятий и краткой презентацией то капитана, Константина Христоридиса, то шеф-повара, Марио Маласпина, то ответственного за человеческие ресурсы Джозефа Смита. С утра листок уже разложен по проволочным этажеркам в коридорах. По пути в буфет отец Александр взял его с верхней полки на английском – ему-то все едино, на каком, ежели не на собственном; пожилая дама доставала с нижней, нагнувшись так, что пришлось положить ладонь на поясницу. «Сверху не могла взять? – удивился отец Александр, но обратил внимание, что на каждой полке была надпись, какой язык, и на самой нижней – испанский. – Ах, вот где собака зарыта... Англичанину и в малом голову надо высоко держать, а прочим – спину гнуть...»

* * *

У раздачи кофе Георгий Дмитриевич оказался рядом с

Еленой. Она выглядела студенткой, собравшейся с утра побегать трусцой.

– И небожители по утрам едят булочки? – закинул удочку Палёв.

Елена охотно сделала б вид, что не заметила его, но по контракту предписывается абсолютная любезность с клиентами. Не дай Бог, кто пожалуется.

– Почему же? – скривилась она в улыбке. – Можно и салат. Но я уж по старой привычке.

Теперь были все основания позавтракать вместе. Разговор продолжился за столом.

– У каждой певицы есть свои песни. А у вас их нет?

Елена вспыхнула:

– Ну, знаете... Нам полагается международно признанный репертуар, это раз. И неужели вы думаете, певица, которая четыре часа в день, полсмены у станка, поет этот репертуар... может еще высекать из себя искры? Рутинa убивает искусство... и вдохновение.

– Простите, не думал, что задену больную струну. Просто певица заявляет о себе новыми песнями.

– Понимаю. Но я здесь грузчик в музыке, маляр, даже не прораб, а вы об архитекторе заговорили, о сочинительстве под гитару.

– Елена... ваше имя со сцены объявляют. А как ваша фамилия?

Это ее насторожило: что, в жалобную книгу писать соби-

рался? От русских того и жди. Хотя и без фамилии обозначить можно.

– Гречаная, – улыбнулась она беззаботно и допила кофе.

– Потрясающе! – воскликнул он. – Плыть по Греции с Еленой Гречаной! Это миф... сказка... – и помолчав, добавил. – Хотя и тавтология: с Эллинкой Эллинской, Гречанкой Гречаной.

Тем временем теплоход подплывал к Родосу, и всякие разговоры отставлялись: ведь туризм – это зрелище, вскормленное не жаждой хлеба.

Все побережье представляло собой одну сплошную крепость. А там, где возведен круглый форт Святого Николы, предположительно стояла знаменитая статуя колосса Родосского, между бронзовыми ногами которого заходили в гавань парусники. Это диво было воздвигнуто за 290 лет до нашей эры и повержено землетрясением уже в 234-ом году, а эра наша еще не наступила. Останки его объявили священными, и они пролежали нетронутыми около девяти веков, пока их не утащили арабы и не продали какому-то иудею из Эмесы. Как выглядел колосс, в истории не сохранилось. Все это излагалось в бортовом листке.

Георгий Дмитриевич сошел на берег в компании отца Александра. От порта до городской стены прогулка заняла минут пять. Родос являл собой прописной образец города-крепости, как бы наставлявший, что за теплое место под солнцем надо жестоко сражаться. Дома вплотную лепились друг к другу, из стратегических соображений своей эпохи часто слепые, без единого окна. Улочки напоминали коридоры такой ширины, что если бы два рыцаря со шпагами на поясе шли друг другу навстречу, то шпаги бы их непременно

скрестились. Ни о каких клумбах или палисадниковых излишествах здесь не могло быть и речи. Выйдешь из спальни в такой коридор, не заметишь, что оказался на улице.

От клаустрофобии город спасала набережная. Море, всегда новое, величественное, располагало к философскому настроению, когда кожей можно ощутить скоротечность тысячелетий, над которыми властвует миг.

– Да, вечное рядом, – не преминул изречь отец Александр, глядя из-под ладони в морскую даль.

В лавчонках для туристов продавались сотни пестрых сувениров, но достаточно было заглянуть в пару из них, чтобы освоить полный ассортимент острова. Открытки были выставлены прямо на улице. Во всех ракурсах и красоте на них изображалась мировая слава острова – колосс Родосский. Он поставил мускулистые ноги на два мыса, и между ними плыли на поднятых парусах крошки каравеллы, шхуны, бригантины.

– Так ведь не сохранилось образа! – удивился отец Александр.

Палёв пожал плечами:

– Разве только будущее доступно фантазии? А прошлое? Воображение свободно. Художник его представил таким. Докажите, что он ошибается.

– Но это ненаучно!!!

Георгий Дмитриевич рассмеялся:

– Мне, как ученому, радостно это от вас слышать.

Отец Александр потёр лоб, будто там возникла шишка от невидимо упавшего яблока:

– Так вот он где, прототип Гулливера в стране лилипутов – колосс Родосский!

– Вот это вполне научно, – оценил Георгий Дмитриевич.

– Заладил ты с этим «научно»! – как от лимона, поморщился отец Александр. – У православия нет иного пути, кроме как устоять против науки и прогресса! Еще Леонтьев предупреждал!

Открытки с колоссом, однако, впечатляли, и их бойко покупали. Палёв и отец Александр тоже приобрели по паре, да еще с видами города и по статуэтке музейной достопримечательности – алебастровой Афродиты Родосской, опустившейся на колени во время купания.

12

Город был в шрамах многовековой истории. Развалины храма Афродиты чередовались с мечетями, медресе, черный камень холкоста с Госпиталем Рыцарей, дворец в духе венецианской готики с собором Святого Георгия. Ему отец Александр поклонился, мелко перекрестив лоб, а Георгий Дмитриевич развел руками:

– Это ж надо! Заехал на край света... и к самому себе приехал. И тут Георгий. Не лучше ли было дома на печке бока греть?

Но в настоящий экстаз его привели названия улиц:

– О-дос Сок-ра-тус¹, – читал он греческий по слогам, – о-дос Пин-да-ру... Надо же! Почти как по-русски написано! О-дос Ор-фео!!! Батюшка! Мы удостоились чести ступить по улице Орфея! Это же... исторический момент. Впору снимать обувь. О-дос Пи-фа-го-ра ...

Тут у Георгия Дмитриевича перехватило дыхание. Он не знал, куда деть руки – развести или сложить на груди, он осматривался, опустился на колени, припал к мостовой поцелуем.

Отец Александр не на шутку обеспокоился:

– Да все ли с вами в порядке? – и стал поднимать его под руки. – Может, валидолу? У меня всегда при себе запасец.

¹ Улица Сократа (греч.)

Но Палёв разлился блаженным смехом и высвободился из его объятий:

– В порядке. В полном порядке. Ведь Пифагор – это мой идеал! Во всем: в науке, музыке, божественности... и как человек. Ему нет равных!

– Не сотвори себе кумира, – покачал головой ошмётовский пастырь.

– Уж куда мне такое сотворить! – скептически махнул рукой Палёв. – Тут усилие всего жизненного и научного опыта едва хватает, чтоб только умозрительно объять его необъятность, путь, наследие. Двадцать два года человек провел в учениках жрецов Гермеса в Нижнем Египте на закате его почти шеститысячелетнего владычества. Видел, как он утонул в крови и варварстве, был угнан в Вавилон на двенадцать лет как носитель премудростей древних жрецов, ведавших все то, что современная прагматическая наука открывает последние двести лет и будет открывать следующие триста. Пифагору все это было известно уже тогда. Затем он сумел вернуться к матери на родной Самос, это севернее от нас вдоль берегов Турции, и какую деятельность развил! А потом снова скитания... Вот кто истинный колосс античности. Чудо света! А не этот тридцатиметровый бронзовый болван. Хотя по другим сведениям метров в нем было семьдесят, – Георгий Дмитриевич перевел дух, но пыл его не убавился. – И прожил Пифагор более ста лет! Открыл божественные законы чисел, формулу золотого сечения, раскрыл тайну де-

сяти – тетрактис, выстроил музыкальный лад... хотя я подозреваю, здесь не обошлось без наследия Орфея. А формула золотого сечения действительна и для музыки в камне – архитектуры, где создает так называемую музыку сфер, и для самой музыки. Он учредил научно-духовную академию в... Кротоне, это Сицилия, пытаюсь, соединить, подружить, обвенчать науку и религию. Чтобы Вера и Знание в согласии служили человечеству, а не бранясь, как кошка с собакой. Он проповедовал, что слово имеет выражение в числах и нотах. В шестьдесят лет, в самом расцвете сил, Пифагор сочетался браком с любимой девушкой, подарившей ему троих сыновей и трех дочерей. Богатырь – недаром в юности завоевал лавровый венок на Олимпиаде. А как закончил дни этот великий старец тоже, – отец Александр насторожился, – загадка: то ли погиб в огне, – завистливые бездари подожгли его школу, – то ли умертвил себя голодом в храме Аполлона, он ведь сызмальства был посвящен ему, то ли... неизвестно. Конец его окутан легендой. Чем не вознесся?..

– Тоже?... Вознесся? – строго переспросил отец Александр. – Как бы ни был велик герой, он простой смертный и не мог прийти до великой истины человеколюбия о том, что перед Богом все равны.

– Да бросьте вы, – горячился Георгий Дмитриевич, – все, из чего состоит христианское учение, уже было до него разлито по разным философским школам, начиная с киников. Даже идея Троицизма, вам известного как Троица, была

изложена Пифагором. Впрочем, в древней Индии она существовала под именем Тримурти.

– Пифагор – это... профессор, пусть магистр наук. А Христос – Сын Божий.

– Сын Человеческий, – Георгий Дмитриевич обреченно вздохнул. – Да что вы. Христос... сын плотника... А читать, писать он умел? Или это случайность, что после него не осталось ни одного письменного памятника? Почти всю жизнь неизвестно, где пропал. Ни кола, ни двора... хиппи, ей Богу. Его даже в университет не приняли бы. Говорю вам, как ученый.

Вот тут-то и пригодился отцу Александру его неизменный спутник валидол. Он нащупал его во внутреннем кармане, перекатил из стеклянного флакончика под язык, а затем придал сердце широкой ладонью.

– Ой, простите, – спохватился Палёв, – ради Всех Святых, я, кажется, лишнего позволил. Увлёкся... не учел, что передо мной не коллега, а Божий человек, церковник. Еще одна попытка подружить Веру и Знание провалилась! Простите дурью голову! Я ведь тоже уважаю, люблю Христа нашего, – для убедительности перекрестил лоб. – Но ведь я же физик. Если пишут очевидцы, что видели захоронение Спасителя в Индии, я обязан выяснить, разобраться... Моя лестница в небо из фактов, теорем и формул сколочена.

– Ох, не согресишь – не покаешься, – отца Александра, кажется, отпустило. – Дайте-ка мне одно обещание, горе-Ав-

вакум. Никогда не касаться вашими выкладками и формулами Иисуса Сладчайшего, младенца невинного.

– А присядем-ка вон там, на террасе... кафе, – суетился в заботе о его самочувствии Палёв.

– Нет, сперва дайте клятвенное обещание. Ради спасения души вашей. Она мечется, как птица, но рано или поздно найдет покой и умиление во Христе. Дайте обещание, иначе пути наши разойдутся вот на этом месте.

– Хорошо, хорошо, обещаю. Никогда больше не касаться Младенца Марии логикой сомнения. К тому же, сам его люблю, понимаю... крепко понял, как довелось бомжевать. Прекрасная школа.

– Бомжевать? – отцу Александру стало жалко Георгия Дмитриевича, а тому в свою очередь давно было жаль отца Александра, на чем они и примирились.

На крыше первого этажа, куда прямо с улицы вела белая лестница, за балюстрадой, под большими зонтиками, называемыми еще грибами, стояло полдюжины столиков; услужливый официант пододвинул гостям стулья и подобострастно замер в ожидании заказа.

– Два кофе по-турецки, – попросил Георгий Дмитриевич, – надоела эта растворимая бурда из камбуза.

Официант не уходил.

– Туркиш кофи, – повторил Георгий Дмитриевич на эсперанто наших дней – английском.

– Туркиш? – поднял бровь официант.

Ему стали на пальцах объяснять, как готовится кофе в турке, заливается вода, насыпается молотое зерно.

– А! – понял официант. – Эллиника кафе!.. – и исчез.

– Вот те на! – обескуражился Георгий Дмитриевич. – Оттого, что турки и греки вечно воюют, даже один и тот же кофе может оказаться двумя враждебными кофиями!

– Вы мне дали обещание, – вернулся к главному отец Александр. – Но еще пообещайте, не для меня, а ради вашего блага, никогда ваших слов не повторять. Вы наживете себе врагов и беды. И даже может дойти до, – он почти перешел на шепот и мелко перекрестился, – спаси и пронеси, до анафемы... до отлучения от лона церкви!

– За что же меня предавать анафемушке-то вашей? За то, что я домолюб? – парировал Георгий Дмитриевич.

– Ну, какой вы домолюб: по морям бродите? – уличил его отец Александр.

– Да вы неправильно понимаете. Домолюбамии югославы патриотов называют. Не люблю я это латинское слово «патриот»... Я домолюб, а конкретнее русолюб. Коль Россия приняла на себя крест христианства, то надо этот крест к России приладить. Россию-то с её просторами и зимами ни к чему не приладишь. В Вашингтоне на день выпал снег – и вся жизнь парализована. А помести туманный Альбион на пару месяцев куда-нибудь в Тюменский край – от него, с его технологией и гонором, пшик останется. Христианство нужно модернизировать. Проводите же вы электричество в храм. В Писании много устаревшего. Вот, например, «На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок всякий делающий сие».

– Второзаконие, глава двадцать вторая, – кивнул отец Александр.

– Верно, – похвалил Палёв. – И согласитесь, на эти предписания уже давно никто не обращает внимания. Но это в быту. И в более возвышенных вопросах то же положение, поэтому необходима реформа, чтобы отбросить лишнее, инородное... иначе жизнь сама отбросит, а церковь окажется... в невыгодном свете. Надо хотя бы усовершенствовать христианство.

– Свят, свят, свят! Побойтесь Бога...

– Бога? Уж Бога-то не втягивайте.

К ним подошел другой официант и спросил заказ.

– Мы уже заказали, – отец Александр показал два пальца, – *эллиника кафе*.

Слуга комфорта поклонился и исчез.

Тут же принесли кофе с необычайной помпезностью на двух блюдах под каждой чашкой, с двумя сахарницами и салфетками.

Но отцу Александру было не до кофе:

– Это ж надо на такое посягнуть: «усовершенствовать христианство»! Нам, грешным, сначала самим надо до него усовершенствоваться. Церковь и так претерпела столько. Ее надо укреплять, а вы подрываете, подкоп ведете!

– Эко вы, повернули. Неужели ремонт – это подкоп? Побелить, перестелить полы – это укрепить дом, а не расшатать.

– Одумайтесь, Аввакум! Плачет по вас анафема!

– Н-у-у, испугали леща потопом! – отпил ядрёного напитку Палёв. – Кто же за правду пострадать не ищет? Льва Николаевича анафема не взяла, весь мир его читает, про анафему мало кто знает, и потомки его процветают.

– Взяла, взяла исполина слова, и вас достанет, – обжегся кофею отец Александр.

– Как же она его взяла, разрешите полюбопытствовать?

– Немцы его могилу разоряли. И душа без покаяния скитается.

– Ну-у-у... Бедный Лев Николаевич: церковь отлучила, шведы премии не дали, да он и сам отказался, немцы моги-лу осквернили. А он в косоворотке босой по земле по туль-ской ходил, которую он то от англо-турок защищал, то плу-гом пахал. Смелый был человек: и масонов описал, не побо-ялся, и от анафемы несварением не занемог. Истинно рус-ский, былинный богатырь! Геракл! Отец тринадцати детей! Домолюб! И все против него. Как против нашего горемыч-ного народа.

Едва кофе был выпит, как второй официант принес еще по чашке. Изумление, переползающее в гримасу зубной бо-ли, исказило его лицо, когда он увидел, что продублировал заказ. Отец Александр смилостивился над ним и махнул ру-кой: давай, мол, твой кофе, что и стало тому анестезией. Он убрал пустые чашки и подал дымящийся кофе по второму кругу.

– Ваше великодушие может стоять мне бессонной ночи, – отодвинул свою порцию Георгий Дмитриевич.

– А по-вашему, великодушие не стоит бессонной ночи? – отец Александр перекрестился и отпил глоток.

– Что ж. Одна лишняя. Значит, быть гостю.

– Ну, откуда здесь, в логове крестоносцев, может взять-ся гость? – удивился отец Александр, но не успел он дого-ворить, как на террасу поднялась Елена Гречаная. Она бы-ла в белом брючном костюме, с белой сумочкой на золотой цепочке подмышкой и прелестным белым кружевным зон-

тиком в руке. Золоченый наконечник его рассыпал вспышки на солнце, как маяк огни.

Палёв заметил ее первым:

– Кажется, это будет гостья, – и встал ей навстречу. – А кофе вас уже ждет.

Отец Александр развел руками.

Елена закрыла зонтик и, цокнув им о мраморный пол, поставила у спинки стула Палёва. От звука этого, короткого и пронзительного, жар бросился ему в лицо – стрела Купидона приняла на сей раз форму белого кружевного зонтика с золоченым сверкающим наконечником.

Теперь они сидели за столиком втроем.

– Рад вас видеть в свободном полете, – хотя Палёву просто приятно было видеть Елену, – а не птичкой певчей в золотой клетке.

– Иногда и меня тянет ступить на твердую сушу, а не на шаткую скорлупу палубы... Ведь мы – такая хрупкая посуда, водный велосипед с мотором...

– Но обслуживающему и техническому персоналу, – заметил отец Александр, – по-моему, это не разрешается.

– Почему же, – возразила Елена, – у них свои смены, только все более жестко.

– Именно! Более жестко! – подхватил батюшка. – Я заметил, какая у вас жесткая классовая лестница наций на судне!

– На судне? Да оно всего лишь миниотражение того, что творится в мире, – невесело улыбнулась Елена Гречаная.

– Да, да, да! Вероятно, вы правы! Одного не понимаю, какое место в этой пирамиде отвели нам? Русское присутствие не входит в их планы. Будто нас вовсе нет на глобусе.

– Отчего ж, – усмехнулась Елена Гречаная, – гармонь поет, оттого что наше место нам пробил Дягилев, Анна Павлова. Это популярности их гастролей мы обязаны репутацией мировой балетной державы и... нас выписали из Российской империи. Правда, окажись среди нас Анна Павлова, ее бы

вымели помелом: высокое искусство здесь бельмо на глазу.

– А знаете ли вы, – потрянул своим театральным прошлым отец Александр, – что Дягилев со всеми Петрушками и «Зеркалом Розы» на средства последнего императора существовал... большого мецената Кшесинской? Без императорской щедрости деятельность Дягилева была убыточной.

– Так значит не Дягилев, а монарх уготовил нам местечко. Эдакое наименьшее зло. Семью прокормить можно.

– И большая у вас семья? – участливо спросил Палёв.

– Мама. Больная. Но у других, из кордебалета, старым и малым не на кого больше рассчитывать.

Помолчали. А после кофепития отправились пройтись по пирсу, к форту Святого Николы, туда, куда когда-то одной ступней опирался чудо-колосс. Пригревало солнышко, и чистая вода мягко плескалась о камни, призывая окупаться.

– Ей Богу, заплыл бы! – сокрушался Георгий Дмитриевич. – Да купальным костюмом не вооружился. Наше плавание – это не путь на Афон, а путешествие из зимы в лето. Вылетел из Питера, было минус тридцать, в Венеции – минус три, а тут, три дня спустя, плюс тринадцать.

По пирсу, меж глыб и камней ходили диво-коты, упитанные, ухоженные, ласковые. Какой-то человек приносил им сухой корм, они аккуратно ели, затем в ленивой неге растягивались на теплых камнях или прямо на асфальте, предаваясь своим кошачьим сновидениям. Сухощавая дама, устроившись на валунах с этюдником, рисовала их маслом на фо-

не морских красот. За спиной у нее развевался длинный газовый шарф, и сама она составляла часть аквамаринового пейзажа, писать который, включив ее в композицию, нужен был другой художник.

– А вы что, держите путь на Афон? – поинтересовалась Елена.

– Да, на Афон. В Салонике сойдем и дальше автобусом, – умиляясь этой кошачьей идиллии, отвечивал отец Александр. – А в Москве бездомные коты на морозе... сам видел, прям как мамонты, замерзнут и хвост торчком.

Елена взяла между пальцев крестик на груди и стала вертеть им:

– А зачем вы едете на этот полуостров? Туда ведь просто так никого не пускают, даже вашего брата мужского племени. А женскому в этот уголок земного шара и вовсе путь заказан.

– Не только в этот, – развел руками Георгий Дмитриевич, – и на Северном Афоне, Валааме, на иные островки слабый пол тоже не допускают.

– Что поделаешь, – трижды согласно кивнул бородой отец Александр, – женщина должна искупать грех прародительницы Евы.

– Ну, знаете, – тихо взорвалась Елена, – я туда не очень-то и стремлюсь. Хотя Флобер говорил, будь на земле хоть один крохотный островок, куда ему запретили бы въезд, он потратил бы жизнь на то, чтобы туда попасть.

– А сам всю жизнь просидел в кабинете, – дорисовал картину Палёв.

– Нет, я не стремлюсь, – повторила Елена, сдерживая мятеж, – с меня хватит и того, что моя тетка из Трои там побывала... или, по крайней мере, ей это не возбранялось. Как и любой последней рабыне античности. А сейчас и первой леги путь заказан. И мать Терезу Калькутскую не пустили бы.

– Нет, нет, Афон необходим, – увещевал ее отец Александр, – хорошо, что баб туда не пускают: помолиться можно в тиши, подальше от искушений.

– Тогда и нам предоставьте такой райский уголок молиться, не подвергаясь мужской деспотии.

– У вас уже это было, – заметил, будто уличил Елену в чем-то отец Александр, – на Лесбосе и у амазонок. А чем кончилось? Женщину надо разбавлять, как спирт водой.

Елена с сомнением покачала головой, но вопрос закрыла:

– Ничего, всё течёт, всё изменяется. Ничто не вечно под луной.

«Эль Сол» трубил, созывая свое стадо. Наша троица последней поднялась по мостику, и моряки втащили мостик на борт.

Как ни хорохорились музыканты, в какие попугайские не рядились пиджаки с блестящими лацканами, вид у них был замученный, изможденный – нездоровый вид. Они, верно, должны были ненавидеть свои инструменты: скрипки, саксофоны, литавры, превратившиеся в инструменты пытки. А ну-ка попробуй быть приложением к саксофону, – мехами, дующими в него, приспособлением для нажатия кнопок. Ты возненавидишь его, и вдвойне страшна эта ненависть оттого, что раньше ты любил инструмент, так любил, что отдавал ему все свое время, чтобы овладеть им... а вышло, он овладел тобой, сделал ниточкой, которая должна дернуться, чтобы он издал дурной, приевшийся звук, еще способный кого-то развлекать. Неужели для того, чтобы одни развлекались, другие непременно должны страдать?

Георгию Дмитриевичу было совсем не весело от разрезвившегося не в меру кафешантана. Ветеранка... как же звали ее? Катя? Света? какая разница?... разбежалась и лихо бросилась на колени полудремлющего туриста, этакое стареющего теленка, замершего над соломинкой, опущенной в стакан апельсинового сока. Разве мог он ожидать, что его выволокут на просценок, станут раздевать и полураздетым кружить нале-направо крашенные девицы в пестрых, дешевых оборках? А он будет ошарашенно насвистывать, чтобы

не выдать своего смущения и отвращения?

Да полно, отвращения ли? Может, он счастлив и год будет вспоминать, как его кружили да щекотали табором! Это отцу Александру все кажется богомерзким, хорошо, что он сидит не в первом ряду, а то что было бы, если бы да эта девица плюхнулась на колени к нему? Он и посидел-то всего минут десять и вышел, ругая про себя никудышнюю постановку и вздыхая о том, что советская клубная деятельность, намного более квалифицированная, чем этот балаган, была прикрыта, массовики-затейники ушли в киоскёры, зато здесь киоскёры, поди ж ты, выбились в массовиков и делают их дело, как бы делал сапоги пирожник.

И Григорию Дмитриевичу все это тоже было не по душе – из-за Елены. В этом пошлом плывущем балагане что делала она?

Елена вышла на сцену, преображенную прожекторами в тропический оазис, в платье из зеленых блесток и таких же длинных перчатках и запела песню по-португальски в тон платью и освещению. Ее положение было менее выгодным, чем у музыкантов: они могли спрятать свой инструмент в футляр и задвинуть в угол, а она – нет. Она сама была инструментом. И звучал он, будто пять лет с него не вытирали пыли. Только отчаянно, как хвост русалки, пойманной в сети, искрилось зеленое золото платья.

– По-русски! Русскую песню! – изо всей мочи захлопал в ладоши Георгий Дмитриевич, едва она допела. – Русскую!!!

На него зашикали, да уже и выбежал кордебалет в невероятных перьях и опахалах.

Георгий Дмитриевич покинул зал. К нему подскочил конференсье и подобострастно по-английски и прочих языках из пятерки протараторил, что если мистеру угодно русских песен, то ему споют, не проблема, музыканты русские, но только не на концерте и не после, а во время *ти-тайма* – чая на полдник.

– Добро, добро, – кивнул Георгий Дмитриевич, лишь бы избавиться поскорее от этой навязчивой услужливости и пяти, для него мертвых, языков. Он еще в самолете обратил внимание: объявления делают по-английски и по-итальянски, а по-русски нет, хотя самолет летит из Северной столицы. А здесь, на планете «Эль Сол», это на первый взгляд безобидное и угодливое дублирование на пяти языках, представало в ином свете. С одной стороны, подумаешь, какая разница: первый, второй... – нельзя же на всех говорить первыми, но с другой – подумаешь, подумаешь, а что если теплоход потерпит крушение – от этого никто ведь не застрахован, пойдет ко дну, кому в первую голову дадут инструкции к посадке в спасательные шлюпки? Тем, чья жизнь самая ценная. Подданным Соединенного Королевства. Вот уж где мал золотник, да дорог: мал островок, да в цене высок. Островитян мало, но в каких уж они тельняшках – своими руками никогда картошку из огня таскать не станут, зато потом охотники до всякой картошки о-го-го какие. Подражают им и жители

их самой большой колонии Соединенные Штаты. Они тоже спасутся, а остальные... – это уж дело рук самих утопающих.

Георгий Дмитриевич вышел на прогулочную палубу – на него обрушилось небо. Звезды взошли крупные, хоть в пригоршню собирай вместе с единственной спелой красной – в созвездии Альдебарана. Небо жило своей тайной жизнью, вне времени совершалось его космическое кровообращение, зарождались и умирали звезды, оставляя после себя туманности.

Палёв решил подняться на верхнюю палубу в наивно-озорной надежде приблизиться к небосводу. Он пошел внутренним путем, через салоны, по лестницам-трапам «Эль Сола». Во всех уютных уголках расположился турист. Тупое, оплывшее животное. Но с другой стороны – и отчаянный следопыт, без нужды открыватель водных пространств, горных вершин. Что его, сытого кота, дремлющего у камина над газетой, заставляет встрепенуться, взойти на судно в абстрактном направлении, куда нет и никогда не будет необходимости ехать, и принять на себя все тяготы пути, даже подвергая себя риску? Как тот чудак, который, желая поближе сфотографировать глотку огнедышащего Везувия, сорвался вниз. Никаким страховым компаниям не дано застраховать от такого падения или от качки с морской болезнью; в море – равенство, и загоняет в его лапы лихорадка сытых скука. Скука – нефть в мотор машины индустрии туризма. Скука, которую можно немного развеять, потратив много или очень

много денег, и которая настигнет и здесь на палубах, когда, не зная, чем занять часы в перегонах от порта к порту, турист садится за ломберный столик и раскладывает пасьянс, зевая, совсем так, как у себя возле камина.

Палёв вышел на верхнюю палубу, маленькую площадку, больше похожую на вышку для часового, и странно – море опустилось ниже, небо нахлобучилось на глаза – протяни руку и потрогаешь. Ему вдруг захотелось рассказывать Елене географию звездного неба, и видеть рядом, на лаковой поверхности ночи, ее чуть запрокинутый профиль.

Он взглянул вниз: корабль оставлял за собой пенистый след, во влажной темноте похожий на хвост мечущейся чернобурки.

Пирей, последний порт, которому засвидетельствовал свое почтение лазурно-белый красавец «Эль Сол» прежде чем, повернуть в сторону Салоника, лежал в нескольких километрах от столицы Эллады, такой же, как сам «Эль Сол» – белой, лазурной и голубой. Впрочем, это во времена Фемистокла он был в нескольких километрах, а сейчас уже давно превратился в суетливую окраину современного мегаполиса. На прогулку по нему пассажирам «Эль Сола» отводилось часа полтора, и то лишь после поездки в Акрополь. На пристани их принял в мягкие объятия своих кресел автобус-челнок *шатл*, *шатавшийся* к Акрополю и обратно. Сели в него и несколько человек персонала, в числе которых к великой радости Палёва оказалась и Елена да еще, как её звали,.. самая славная из балеринок. Вместе с ними погрузили какой-то короб и шатл тронулся.

Афины – пятимиллионный город, вмещающий половину населения страны. Движение в нем убийственное. Чтобы остановить такси, здесь «голосуют» так же, как в России, и так же подсаживают попутчиков. Многоэтажек нет, и это большое достоинство. Отовсюду видны горы, и в любой точке слышно дыхание моря. А с горы Акрополя можно видеть, как вдали оно омывает горизонт яркой молодильной синевой. Экскурсовод вздохнул и рассказывает о том, что Акрополь

был обитаем уже пять тысячелетий назад. Но лучше один раз увидеть, чем сто услышать. Палёв превратился в зрение, в сетчатку, запечатляющую всю эту Грецию, тени ее античности и легенды; почти перенесся в древнепрошедшие времена, затрепетал от священных чувств, почти,.. если бы не повсеместное присутствие туриста. Два англичанчика с гребешками сине-свекольных волос от лба до затылка сравнивали Малый Дворец Кариатид со своим *вединг-кейком*, слащавым по форме и содержанию свадебным тортом.

Но даже этот муравейник не мог умалить величия и грандиозности Парфенона. Никакие изображения, в том числе целлулоидные, не в состоянии передать его истинного величия. Он молча вопиет о том, что античные герои были больше богами, чем людьми. Или же гораздо ближе к богам, чем люди сегодня. Дух у них был более высок, оттого и архитектура сочетает в себе простоту, возвышенность и легкость с титанической основательностью, позволившей этой легкости перестоять пять десятков столетий. Парфенон – это венец Акрополя. Между его колонн, на *крепидоме* – основании, мелькают женские фигурки в легких бело-золотых туниках. Босыми ступнями они целуют теплые от солнца плиты. «Сними обувь твою, – вспомнил отец Александр, – ибо священо место, на котором стоишь», – и посмотрел на свои запылившиеся туфли. Но каково же было удивление в группе, когда в древних эллинках узнали певицу и танцовщицу турфлота. С ними можно было попозировать штатному фо-

тографу – эта услуга из прейскуранта «Эль Сола», а снимки приобрести на борту. «Гречанки» из-под Киева принимали позы, подсмотренные на краснофигурных вазах; турист, по сравнению с ними, – лох в потертых джинсах, становился или садился рядом, – и моментально щелкал фотоаппарат. Щелкал и увековечивал его в полной никчемности, оскорбляющей гармонию. Не правда ли, премиленький сувенир?

Георгий Дмитриевич ярился: зачем она, вот так, со всеми, с каждым?.. эх-х, а я ей небо собирался дарить... да что это за работа такая?.. публичный дом,.. руками разве что не трогают! И ни любви, ни очага, ни детей! Откуда же это Еленино спокойствие? Или вправду жрица?

Сначала он фыркал, возмущался, но потом сунул сумку отцу Александру, подошел к «жрице», подхватил ее, заматавшую босыми ногами, на руки и повернулся к объективу.

– No! No! – закричали на него фотограф, и ассистентка фотографа: руками модель не трогать.

Пришлось отпустить Елену, она вытянула руку и притронулась к колонне, голову склонила к плечу, одну ногу отвела назад, касаясь плит краешком пальцев. Щелкнул фотоаппарат. Палёв встрепенулся, как от щелчка затвора. Елена улыбнулась невидящими глазами и шагнула... – к какому-то толстяку.

«Глупо, – ретировался Георгий Дмитриевич, – выгляжу глупо... Впрочем, сейчас рядом с ней все выглядят идиотами, а чтоб этого избежать, надо обрядиться Агамемноном,

не менее...»

* * *

В автобусе он не сел возле Елены, хотя она сидела одна. Сел сзади с отцом Александром через проход и вместо того, чтобы разглядывать красоты за окном, смотрел на Елену; ее плечо, сутулое больше обычного, видно, устала; волосы, оставшиеся в прическе, сделанной для съемки: сколотые под белой диадемой-обручем, отдаленно напоминающей кокошник. Выбившиеся из-под нее прядки закручивались на шее медными колечками. Линии были так просты и ясны, что хватило бы двух росчерков пера, чтобы набросать портрет.

В голове вертелась модная песенка:

*Пусть не сказаны слова,
Имена еще не прозвучали,
Но любовь уже жива,
Та, что у всего была вначале.*

Туристы сошли на набережной Акти Мяоули, персонал последовал на судно. Отец Александр и Георгий Дмитриевич двинулись по людной широкой улице, вдоль китайской стены лавок и магазинчиков, еще и в том смысле китайской, что все они были по горло заняты подъемом экономики будущего всемирного босса, Китая, торгуя дешевым барахлом, состряпанным на желтолицей родине чая. И везде в витринах на первом фланге красовалась табличка с надписью просфора, просфора.

– Да причем тут просфора? – недоумевал отец Александр. – Неужто они в этих гадюшниках просфорами торгуют? Я люблю крошку просфоры под язык положить. Иной раз лучше валидола действует.

Зашли в одну, другую лавку – никаких просфор. Горы тряпок, таких, как на ярмарке в Коньково, зайцы с выпучеными глазами, музыкальные коробки с танцем маленьких лебедей и прочая дребедень. Отец Александр уже начал соображать, что, вероятно, подразумевается некое облегчение, не в жирах и калориях, а в серебряниках, отчего ему стало делаться не по себе. А тут еще в одной витрине с греческими вазами, статуэтками, настенными тарелками и часами попала табличка «scount, sconti, rebajos, просфора, скидки».

– Как же так, – отец Александр достал валидол, – святая

плоть – просфора, приобщает к телу Христову, а в отечестве нашей веры, пусть во втором отечестве, имеет такое низкое торгашеское значение?! Где храм? А где фарисеи?!

– Да не расстраивайтесь вы так, – утешал его Георгий Дмитриевич. – Что ни грек, то грех. Ведь до появления греков на Руси, не было и понятия греха...

Но отец Александр не слушал:

– Что ж получается? Мы – тоже эзотерическая религия, как любая другая. Даже для меня, книжника: греческий в ГИТИСе не преподавали. А греческий как раз и обеспечивает эзотеризм. Греческий и наследие Византии...

– Получается, – вздохнул Георгий Дмитриевич. – Византизм со своим культурным кодом и языком – как ограда, которой обнесена церковь, чтобы отмежеваться от народа.

– И всё-таки, мой Пифагорыч, – пошел на попятный священник, – вы не там копаете. Истинное бедствие – это бюрократия. Полчища паразитов опутали не одну Россию-мать, а всю Землю-кормилицу. Вот в чьих руках власть. Не платить бы им поборы, пусть бы попробовали жить плодами своего труда... Вот тогда бы люди облегченно вздохнули!

– Да вы никак реформатор, – приятно удивился Палёв. – Но постойте, лавка, – он указал на вывеску, – «Папахристудулу», вижу тут одну безделку.

Он вошел, а отец Александр остался ждать на улице, прохаживаясь у витрины и радуясь, что не видит вывески «просфора»; надо забыть это святотатство, оскорбляющее

чувства верующего.

Георгий Дмитриевич извлек из завала на прилавке ляпис-лазуревую статуэтку рогатой женщины. Статуэтка была не из святилища Афины, а из долины Нила, женщина была богиней Изидой, рога у нее росли не в знак неверности супруга, а в знак мудрости, а диск, прихваченный рогами, означал солнце. Палёв попросил упаковать.

Теперь они шли с отцом Александром, на витрины больше не глядя. Георгий Дмитриевич осваивал греческий алфавит, читая по слогам вывески:

– Хри-сто-ло-пу-лос, Хрис-ти-аки, Хрис-то-ду-лу...

– Да прекратите вы богоульствовать, – не выдержал отец Александр.

– Ну что вы все не хотите признать, что дождь мокрый, – огорчился Георгий Дмитриевич.

– Не желаю понимать ваших намеков. Верно, опять с подвохом.

– Подвох в том, что вы отрицаете очевидное. Раньше наших детей даже именем Иуда называли. Не один Головлёв тому примером. А вот Христосом никогда. А в Греции, видите, на каждом шагу... и в Болгарии Христо... Ботев. Помните?

– Это вы чересчур много видите.

– Прикажете выколоть глаза? Но и слепому Эдипу нельзя не заметить, что у нас людям в имена определили иностранные слова.

– А что вы предлагаете вернуть Предислав, Любав, Некрасов? За тысячу лет их забыли, а привыкли к Машам, Ваням, Ксениям. Они писали историю последних десяти веков.

– И дописались. А чтоб исправить написанное, надо начинать, вероятно, именно с имен... Как сказал поэт: «И повторял я имена, забытые землёй»², – он помолчал. – Слово – оно как указатель на дороге: куда повернута стрелка, туда и оглобли поворачивают... А хотим вернуться на круги своя, не петлять дальше в чужих лабиринтах, надо постепенно, незаметно вернуть обратно свои родные имена.

– Ой-ой-ой, плачет по вас анафема, – покачал головой отец Александр.

– А вы скажите мне, как звали Ивана-царевича? А Василису Премудрую? – не отступал Георгий Дмитриевич. – Иван – библейское имя, Василиса – греческое, а сказки-то наши веков на сорок старше Библии. Назовите мне истинное имя героев, у них ведь были прототипы в жизни, а тогда предавайте, чему хотите. Я, как пионер, всегда готов пострадать за правду. Меня хлебом не корми, дай ради такого дела взойти на костер.

– Ишь, Джордано Бруно, протопоп Аввакум нашелся, – чуть ли не фыркал отец Александр. – Чего захотел?! Славы мученичества! Да сейчас, авария какая случится, как мошку, раздавят и не заметят, что такая ползала.

– Правда ваша. Но все же как-то не по себе, что я, русский,

² Ю.П. Кузнецов

не могу русским именем называться. Называюсь греческим. Греки, небось, Святославами, Людмилами, Светланами не называют своих детей, а мы, выходит, тупее греков. Они себя своими именами называют, а мы ихними, греческими. Арефа, Синклития, Агафоклия, Сосипатра, Аферкий, Аристовул, Мемнон... кто там еще в святцах? Акакий Акакиевич отдыхает.

– Так ведь все мученики, за веру претерпевшие. Иные в святцы не попадают.

– Теперь понятно, – тяжело вздохнул Георгий Дмитриевич. – Если имя определяет судьбу, то понятно, почему все россияне в двадцатом веке стали новомучениками. Но почему-то ни одной святой Светланы или Людмилы в святцах не попадается. Столько Арсениев и ни одного Богдана. Вам не кажется это натяжкой?

– Неправда, неправда, – зажмурил глаза отец Александр. – Святая Людмила есть, точно есть! А введение новых имен у колыбели российского христианства было насущно, как хлеб, как закладка фундамента при возведении храма.

Георгий Дмитриевич махнул рукой, как бы желая сказать, что ему есть что возразить, да уж не будет, не в охоту.

– А в просвещенной Европе еще дальше пошли, – приободрился отец Александр, – сплошь и рядом детей Сарамы, Давидами нарекают. А в Жозефине вы Иосифину не узнаете?

– Вот тебе и просвещённая! Сплошное мракобесие... Ре-

ферат можно писать, – проворчал Палёв и демонстративно замолчал, не желая больше подбрасывать в огонь дискуссии поленьев.

Когда они добрались до «Эль Сола», ставшего домом родным, на нижней палубе у кинозала уже были вывешены на доске акропольские снимки.

Георгий Дмитриевич нашел себя.

Иногда фотография – как третий глаз, подметивший то, что ускользает от очного внимания. Елена Гречаная была на ней деталью Парфенона, невозмутимой и естественной, как сам этот оазис древности на погрязшей в прогрессе планете. А Палёв... потерянный, сбитый с толку, был чуть развязан, выбит из колеи... Он поскорее приобрел злополучную фотографию и спрятал подальше с глаз. Порвать не поднялась рука. Елена получилась хороша. Эх, остановись, мгновенье! Ведь оно уже неповторимо, уже принадлежит прошлому не менее, чем вся эта Греция в её элладской славе.

Футляр-каюта был образцово убран: постель приготовлена ко сну, уголок одеяла отвернут, а на нем оставлена конфета: сладких вам снов, милые леди и джентльмены! Отец Александр едва успел пробормотать скороговоркой «Отче наш», а Григорий Дмитриевич разместить рогатую синюю богиню в своём алтаре, как ударил гонг, призывающий к ужину, накрытому в «Коралловом кружеве». Но громче всех гонгов трубила пустота в желудке.

Они вышли каждый из своей каюты в тот момент, когда

«Эль Сол» снялся с якоря в порту Пирея, первого по величине в стране, и направился в Салоник, порт по величине второй.

Встретились за столом; Езерский хмурился, Георгий Дмитриевич сиял, как в день получки:

– Да бросьте вы дуться, отец Александр. Я ж лично ни в чем не виноват. У меня взгляд ученого. Чтобы развить его, я посвящал себя всевозможным наукам и дисциплинам. Что поделаешь, если иноземные слова иногда вскрывают суть значений и тайное делают явным.

– Бывает, – нехотя, чисто из вежливости, отозвался отец Александр. – Вот меня умиляет газета по-гречески – *εφημερίδα*. Эфимерида – нечто эфемерное, эфирное, летучее, несущественное. А вспомните «Правду» застойных лет, «Известия»... все казалось счастьем на века.

– Да, – Палёв открыл меню, – вот вы и сами... – он углубился в изучение невиданных яств, предлагаемых кухней.

А кухня сегодня устраивала греческий ужин, официанты по такому случаю были одеты греками: в вышитые рубашки, черные безрукавки. Из меню Палёв дедуцировал, что *дольма* – это почти наши голубцы, только не в капустном листе, а в виноградном. Он увлеченно читал по слогам: к пяти положенным языкам сегодня была приписка по-гречески.

– *Κοτσοουλα*, – прочитал Палёв и отпрянул.

– *Κο-το-су-па*, – прочитал отец Александр и замер. – ... Ба! Написано-то почти по нашему: *котосупа*. Только наобо-

рот – суп с котом. Так вот он где сварен, суп с котом!

Подали суп с рисом и волоконцами куриного мяса.

– Ах, не с котом, а с курицей, – вывел суп на чистую воду отец Александр и благословился перед приемом пищи. – Наш-то суп с котом – это «лови момент»...

– Тогда уж позвольте не пропустить момент, – зацепился за слово Георгий Дмитриевич. – Перед нами яркая иллюстрация смысла-перевёртыша. Разрешите-ка пофантазировать... М-гу... думаю, дело было так. Монахи держали пост. А о чём мысли человека голодного? О сгущенке, тушенке, о сытных обедах с наваристым супцом... Вот вам и потом – *котосупа!*

– Сказочный супчик, – слушал, да ел отец Александр. – Жаль, порция, как кот заплакал.

– Хотите, я вам свою уступлю? – с готовностью придвинул ему свою тарелку Палёв.

– Что вы! Горяченького и Богородица велит откусать во избежание язвенных неприятностей.

– Эх, уговорили, – Георгий Дмитриевич налег на *суп с котом*, да тот быстро кончился. – А помнится, как бомжевал...

– Кстати, о вашем бомжевании, – отец Александр придвинул к себе второе, те самые голубцы в виноградном листе. – Все хочу расспросить, неужели, впрямь бомжевали?

– Да, представьте. И не философского эксперимента ради, а пал жертвой обменной аферы, скитался сначала по знакомым, хлебнул-с из этой чаши, потом... ну-да не будем, тот

суп с котом давно съеден. Сейчас я счастливейший из смертных, ответственный квартиросъемщик, живу один, как кот в масленницу... Тыфу-ты, дались нам сегодня коты! Но тогда, да-с, тогда, не на что было поесть. Мне, ученому с патентами на мировые изобретения, не на что было купить булку. Ей богу, хоть кота в подвале, такого же бомжа, как сам, лови и суп вари.

Отец Александр всплеснул руками.

– Да не волнуйтесь вы, – успокоил его Палёв, – до съедения братьев меньших я не дошел, а вот лаваш с лотка у кавказца умкнул.

– Украл?

Палёв развел руками :

– Поймали бы, били б ногами, и были бы правы, ведь «не укради», и даже вы, отец Александр, их не осудили бы.

– Я-то вас не сужу, а жалею как заблудшую овцу.

Георгий Дмитриевич расхохотался:

– Трогательно... Ей Богу, – он осек смех и с самой серьезной миной спросил. – Кстати, а кто такая Она?

– Кто Она? – отшатнулся с опаской отец Александр.

– Та, которой мы всегда клянемся.

– Кому, кем клянемся?

– Ну, Богу – понятно, а Ей – кому? Кто такая Она? Почему сначала Ей, а потом Богу?

– Ах, Ей!

– Да, Ей. Кому Ей? Изиде? Она же – София. Афродите?

Богородице?

– Вы... с вашими вечными штучками, – безнадежно махнул рукой отец Александр.

После ужина он удалился отдохнуть, по пути в каюту сделал неожиданное открытие. Проходя через салон «АЗУР», на обратной стороне стеклянной двери прочитал в зеркальном отражении название и часто, часто закрестился: «Ба! И тут Руза! На тебе! Мой удел, планида... Царица Небесная! А ведь не случайно... Да только поди разберись, какой в том смысл, намек? Руза Небесная... морская. Куда меня занесло. И этого Пифагорыча, не ведающего, что творит, зачем послало? Имена ему нехристианские подавай... Ирод, конечно, злодей. Но прознай церковь об угрозе, уготовленной в младенце, что стало бы большим злом: обезвредить его или пустить все на самотёк?»

Начинало слегка штормить.

Георгий Дмитриевич открыл кожаную папку; но не писалось, мысли на полный желудок были приземленными, взлететь им мешал булыжник из голубцов и котосупа. Он исправил несколько слов и захлопнул папку. Нашел в ящике стола акропольский снимок и поставил на стол: какой смысл прятать, если потом достаешь тайком и разглядываешь? Тайком-то от кого? От самого себя?

Елена его Гречаная на снимке безукоризненна. И ведь грамотно продумано: не цветной и не черно-белый, а в сепии, коричневатого-молочный, будто в молоко капнули кофе, размешали, а потом тонкой струйкой вывели контур. И проявившийся образ уже не принадлежит реальности, но еще и не вошел в сферу мифа, а где-то на пути к нему, в области легенды. А она себя видела?

Стол накренился, фотокарточка, папка, и весь алтарь съехали на один край, затем переехали на другой. Нептун заволновался.

Георгий Дмитриевич отправился на поиски точки наименьшей качки. Повсюду за перила лестниц были заложены непромокаемые пакеты на случай рвоты. Волны доходили до верхней палубы и лизали окна библиотечного салона. За столиками под зеленым сукном наряженные до безобразия старушки невозмутимо раскладывали пасьянс, да и толстяков

не пробирала никакая качка – неотступно, с большими паузами между глотками, они тупо медитировали над пивом.

На выдаче книг сидела Елена Гречаная и мирно читала книжку в мягкой пестрой обложке. Было тихо, все подчеркнуто не замечали шторма, гарсон за стойкой бара готовил напитки.

– А что это ты, – сел напротив Елены Георгий Дмитриевич, – не при исполнении?

– Почему же? – оторвалась она от чтения. – В контракте оговорен и этот вид услуг. – Волна с силой ударила в окно. – В такую болтанку и ноги ломали... Концерт отложен по метеоусловиям. Да и отработала я сегодня свое в Парфеноне.

Георгий Дмитриевич вспыхнул:

– Ты здесь, как солдат на службе. Женщина так жить не должна. Она солдат на другом фронте, ... где очаг, зыбка. Нет этого, и она несчастна.

– Возможно. Но меня засосала эта жизнь.

– Хм, – Палёв с возмущением щелкнул по пёстрой обложке. – Марья Леденцова, – прочитал автора. – Что это ты традишь себя на такое мещанское чтиво?

– Так ведь больше ничего нет, – виновато приподняла Елена сутуловатые плечи. – На всех лотках только это. При всем желании другого не найдешь.

Палёв дал книжке щелчок, и та отлетела в сторону:

– И сколько тебе еще гоняться за ветрами, услужившими, уж я не знаю, кому больше, Эолу или Одиссею?

Елена кукольно моргнула.

– Ну, сколько осталось до конца контракта? – расшифровал он вопрос.

– Ещё... три месяца.

– А потом?

– Потом суп с котом.

Палёв рассмеялся, вспомнив ужин:

– Да, это наша национальная кухня. Только потом кот оказывается курицей.

– Что ты хочешь сказать? – удивленно подняла брови Елена.

– Я хочу... сделать тебе предложение.

Брови ее поднялись еще выше.

– Нет, конечно, ты девушка что надо, – невозмутимо продолжал Георгий Дмитриевич, – но это не повод, чтобы делать главное предложение. Я не знаю, как там насчет чувств, но помочь тебе определенно хочу. И могу. Выйдешь на сушу, езжай ко мне, в Питер.

– Ты так говоришь, будто корабль – тюрьма.

– А разве нет? Особенно для тебя. Нельзя же так всю жизнь болтаться, девушка. Я помогу вам найти место. Помогу без личной нужды и корысти, как сестры милосердия великия княжны. Место вам даст очаг, семью. Если суждено со мной, то так тому и быть. А нет, будешь мне обязана не больше, чем двоюродной тете ну или крестной матери. Записывай адрес. Ну, что смотришь, Елена Прекрасная? Мне

ведь утром на берег. Пиши. Ты мне родней сестры. Мне тебя жалко... А жалость, она... роднит.

Елена достала из стола блокнот, вырвала лист и под диктовку записала все координаты. Она хотела сказать что-то важное, да за спиной Георгия Дмитриевича вырос отец Александр.

– А я вас везде обыскался, – хлопнул он его по плечу, – хотел сказать про Рузу-то, не дает мне спокойствия. Может, вы, как Пифагорыч, растолкуете мне Божественный замысел?

Они ушли. Какой-то мальчик сдал комиксы о проныре Мики Маусе, Елена открыла Марию Леденцову, но чтение не шло, она стала разглядывать адрес Палёва. Что ж... Богатырь в наше время? Возможно, это выход. Возможно, решение... Она уже на всех лайнерах поплавала... иногда подходили туристы, помнившие ее по другим круизам. А в системе этого не любят. Три месяца – и полная свобода. Можно устроиться на Украине на заработанное... Но разве можно создать тихое житие среди всеобщего бедствия? Край-то разбойный. В России сейчас поспокойнее, оттуда не бегут деревнями батрачить... в просвещенную Европу. А если там есть на кого опереться...

Она свернула листок и спрятала в нагрудный карман спортивного костюма.

Шторм разыгрался не на шутку, будто хотел передать привет от «Титаника». А ведь тот океанский лайнер был гигантом, «Эль Сол» в сравнении с ним лилипут.

Георгию Дмитриевичу волны ударили в голову, как хмель: ведь вот оно рядом, за окном, бушующее нутро стихии! Вот пучина, бездна! Только руку протянуть – и вот она, непостижимая, неукротимая! Вот он – *гун моря!* Можно потрогать – не то, что звезды!

Он попытался открыть дверь на прогулочную палубу:

– Хочу взглянуть в лицо бушующего естества!

– Безумие! – попытался удержать его отец Александр.

– Одиссей и не тому смотрел в лицо! – Палёв отстранил его и навалился на дверь против силы ветра, теплоход шатнуло, дверь поддалась, и его катапультировало на палубу. Хорошо, он успел схватиться обеими руками за внутренний поручень, не то снесло бы в зев «бушующего естества».

Нечего делать, Отцу Александру пришлось податься на выручку и, проделав тот же путь; он зацепился в двух шагах от Палёва, а тот изо всех сил, кричал:

– О, море! Поведай мне о Пифагоре!

«Совсем рехнулся», – ахнул отец Александр, плотнее прижимаясь к корпусу теплохода и пытаясь сделать шаг, полшага вперед. А Палёв Байроном неистовствовал перед лицом

стихии:

*– Ты видело его! Несло в своих ладонях
В далекие края познания-изгнания!...*

Рык моря заглушал голос, похищал слова, но Георгий Дмитриевич не сдавался, кричал еще сильнее; жилы напрягались на шее до разрыва:

– Поведай же доподлинно сказанье! О, море!

Тут он сделал совсем безумный шаг: отпустил внутренний поручень и переметнулся к поручню вдоль края палубы, вцепившись в него разве что не зубами. Так нас манит бездна и высота.

– О, море!... – его окатило волной, тряхнуло, переметнуло почти к корпусу палубы и обратно, на край, но он удержался. – ... о Пифагоре!...

Отец Александр прилип к корпусу, как улитка, и оглянулся: надо выбираться.

Судно накренило и бросило с новой силой. С Палёва вода текла тремя ручьями, он не удержался; перекрутив, как оловянного солдатика, его вышвырнуло за перила, пальцы соскользнули, и он повис на них на одной руке. Море ревело.

– Руку! – донеслось до отца Александра сквозь рев.

Он отнял десницу от поручня:

– Держись! – но подать ее было равноценно самоубийству, быстро перекрестился: «Промысел... мне ль менять?..», теплоход качнуло, Палёв сорвался, исчез в ревящем мраке. Не донеслось даже крика.

Отец Александр хотел было взглянуть, что творится за бортом, да какое там: кругом сплошная чернота, летящая мимо на бешеной скорости, только где-то по кромке горизонта, собираясь пересечь курс «Эль Сола», скользил сороконожкой огней невидимый корабль.

Бормоча: «Одиссей... Аввакум... Ирод...», он с превеликим трудом, рискуя быть сброшенным, добрался до двери, втиснулся в нее и сполз по стенке на пол в салоне, где слышалось сладкое поигрывание скрипки и уютно горел неоновый свет.

– Языческие шатания... до чего доводят... – шептал он не в себе. – Что предпринять? Или я уже все предпринял? Что же он не побоялся моря... анафемы? Дурак ничего не боится. Нет трупа,... значит, нет смерти... нет трупа,...нет дурака...

К нему кинулись ливрейные малайцы-бонзайцы, клекоча на своем, по-всему, видать: «Вам плохо? Что с господином?»

– Там... там, – пытался объяснить отец Александр, – человек за бортом... снесло волной уж как минут пять! Неужели никто не кинется на этом плавучем вавилоне? – но его не понимали, не могли понять, лопотали свое и под руки сопроводили в каюту.

Елена убрала книги и настольные игры в шкаф, посмотрела по компьютеру номер каюты Палёва и набрала по телефону. Она хотела сказать ему... просто сказать: «Спокойной ночи» и еще, может, «приятных сновидений... Георгий Дмитриевич», но никто не отвечал на ставшие заунывными гудки, и они оборвались.

В коридорах от качки бросало от стены к стене. Елена на борту была не туристом и давно уже не юнгой, и то с трудом сохраняла если не равновесие, то хорошую мину на лице. В салоне «Гаити» проводили викторину. «Где на Карибских островах говорят на языке пимьенто?» Угадавшему («На Кюрасао») вручали коктейль и т.д. Георгия Дмитриевича здесь не было.

Елена спустилась на вторую палубу, на место своей публичной казни, в «Азур»: на сцене играл оркестр, официанты разносили пирожные-миньон. Она взяла одно, Гранд-Опера, кофейно-шоколадно-кремовое, положила таять под язык и пошла дальше на поиски.

Палёва не было нигде: ни в кинозале, ни в спортклубе, сауна в это время закрыта. Она спустилась в отсек плавучего отеля. Постучала в номер Палёва. Тихо. Неужели спит? Повернула ручку – дверь легко отворилась. Пустая каюта была залита неоновым светом.

– Георгий Дмитриевич, – негромко позвала Елена.

Никто не откликнулся, и она вошла, прикрыв за собой дверь. Все, что было не прикреплено к полу или стене, перекатывалось со стороны в сторону: туфли, кресло, предметы на столе: открытка с Троицей, крест, подсвечник, статуэтки рогатой богини и Афродиты Родоса, гипсовый горельеф Аполлона, фотография у Парфенона, стопка бумаг, перетянутых резинкой, выезжающая из кожаной папки, сама эта папка. Елена села в кресло; попытка навести на столе порядок оказалась сизифовым трудом, да и бумаги выехали из папки окончательно. Елена увидела название, тщательно выведенное чернилами красивым, на старинный манер, почерком *«Сводъ реформъ спасенія Руси»*. Она сначала скептически улыбнулась, но потом стащила резинку и перевернула страницу: *«Глава I. Восстановление и развитие истоков»*.

– Хм, однако, – тяжело вздохнула и придвинула рукопись поближе. – Неужели действительно богатырь в наше время?

Человек, задумывающийся над этим, не мог делать несерьезные предложения.

Была уже глубокая ночь, когда она заснула, уронив на рукопись голову. Ей приснился чудный сон. Будто Изида сошла со своего пьедестала и села за стол с тремя Ангелами, на том свободном месте, откуда лицезрят икону. Ангелы приветствовали ее легкими благосклонными улыбками. Изида извлекла солнце, почивавшее ковригой между ее рогами, разломил на четыре равные части и вручила каждому. Ангел

напротив, с голубой накидкой на левом плече, пододвинул ей чашу и началась трапеза. По мере того, как съедали ковригу, отламывая по кусочку и отправляя в рот, все четверо начинали светиться изнутри, сначала слабее нимба, потом ярче, как нимб, ярче нимба, пока совсем не растворились в ослепительном, невыносимом для глаз сиянии, издающем тихий серебряный звон.

От сияния Елена пробудилась. Первые лучи солнца светили в ковригу иллюминатора. Буря утихомирилась, а солнце светило с тройной силой, будто каялось в содеянном и клянется теперь уж в вечной нежности и штиле. Разве можно было ему не верить?

Какой странный сон. Ничего подобного Елене прежде не снилось. Она, верно, подсмотрела чужой сон, верно, Георгия Дмитриевича; разве не здесь обитает его дух? И разве не его она всегда ждала, как избавителя и заступника? Разве не ради этой встречи она прошла огонь и воду? Встречи, в которую она всегда верила и которой ждала? Неминуемой, как это солнце после вчерашнего буйства стихии. Куда же он сам запропастился? Куда можно кануть на «Эль Соле»? Никак у приятеля за полночь не зашли. А, значит, всех петухов проспят. Тогда почитает она еще эту летопись грядущего у себя и занесет потом тихо папочку. Будет повод повидаться.

Елена беззвучно рассмеялась, прижала «Сводь» к груди и тихо покинула каюту Палёва.

Отец Александр открыл глаза, когда солнце уже стояло высоко над горизонтом. Сначала не мог понять, где он, что с ним? Но вот взгляд упал на «Гернику», опять возникшую на стене, в душе поднялась смута, и он вспомнил, как дурной сон, вспомнил вчерашнее. В голове затикало: сколько времени прошло, как Палёв кувыркнулся за борт? Час, день, ночь? На сколько ушел корабль, если идет он восемнадцать узлов в час? Сколько в одном узле? Знает ли экипаж, что человек за бортом? Или за бортом он был вчера, а сегодня уже на дне морском или в брюхе у акулы? Да водятся ли акулы в этих морях?

Умножая в уме два примерно километра – длину узла – на восемнадцать, а потом приходя в тупик, на сколько же делить, отец Александр поспел к завтраку последним из могикан. Чашка кофе, этого наркотика с невинными глазами, выбила из него, как пробку из бутылки, остатки сонливости и заторможенности. Та-а-ак. Объявлять тревогу «человек за бортом», как пить дать, поздно. Надо складывать чемодан – скоро пребываем в Солунь. Палёв... Георгий Дмитрич... Пифагорыч! А его сочинения? Что он там вчера бормотал?

О, море! Поведай мне о Пифагоре!

Ты видело его, несло в своих ладонях

В далекие края познания-изгнания!

Поведай же доподлинно сказанье!

А ведь он вез на конференцию трактат... о реформах... шатаниях языческих. Это может быть интересно... то есть небезопасно... Опасно для церкви! Куда они теперь попадут? В какие руки?

Отец Александр посмотрел на свои, белые, припухлые, в ушах его гроыхнуло эхо: «Руку!»

Да спасла ли бы его рука? Подал бы, и сам бы опрокинулся в бездну. Разве удержать ему взрослого человека, пусть он и колет иной раз дрова? А как же попытка не пытка? Выходит, попытка-то – пытка, коли она не совершена. Пытка угрызения. А «сам погибай, а-а-а?..» ...Да еретик, язычник – попу не товарищ. Еретиков жгли, язычники же христиан и мучили, и казнили. Детей малых не щадили, Веру, Надежду, Любовь, дочерей Софии, не пожалели, и ее саму, мать троих детей. За что же ему руку? Или он, отец Александр, не солдат армии добра в рясе? За что же руку смутьяну? Или священник, как лекарь, с той разницей, что лекарь лечит микстурами, не разбирая, злодей перед ним или Божий агнец, а священник милосердием? Но разве отсечь гнилой нарост, от которого пойдет гангрена по всей церкви, – не милосердие? О церкви он пекся, а не об отдельном утопающем. Он и тонул за свои грехи в помыслах... Не мог он, не велено подать руку такому! Да только доброе сердце не раздумывает перед вер-

шением добра. «Руку!» – снова полоснуло слух отца Александра, он вздрогнул, отмахнулся («Тяжела ты, воля Господня»), открестился тройным мелким знамением и направился в каюту Палёва. Там шумел пылесосом цветной стюард. Отец Александр зашел и поискал рукопись, где только возможно: на столе, в шкафу, под картиной, подушкой, в чемодане. Рукописи нигде не было. Он попытался выяснить у стюарда, не видал ли тот каких бумаг, но это все равно, что допрашивать безъязыкого.

– Фу-ты, немец, турок, – возроптал отец Александр на его любезные улыбки и кивки «йес, сэр, ноу, сэр».

«Вот тебе и на... – совсем озадачился отец Александр. – Трупа нет. Рукописи нет. Может, их и вовсе не было? Никого и ничего?»

Он вышел на палубу. Море шептало... Что же вчера оно было во гневе?

Часть вторая

В треугольнике Софии

«И вот в лучезарный послеполуденный час показалась пирамида Афона! Словно какой-то торжественный профиль, она вырисовывается, доминируя своей двухкилометровой высотой надо всем, что есть вокруг».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.